

## The Cloud in Trousers

### A Tetrptych

#### (Prologue)

Your thought,  
musing on a sodden brain  
like a bloated lackey on a greasy couch.  
I'll taunt with a bloody morsel of heart;  
and satiate my insolent, caustic contempt.

No grey hairs streak my soul,  
no grandfatherly fondness there!  
I shake the world with the might of my voice,  
and walk – handsome,  
twentytwoyearold.

Tender souls!  
You play your love on a fiddle,  
and the crude club their love on a drum.  
But you cannot turn yourself inside out,  
like me, and be just bare lips!

Come and be lessoned –  
prim officiates of the angelic league,  
lisping in drawing-room cambric.

You, too, who leaf your lips like a cook  
turns the pages of a cookery book.

If you wish,  
I shall rage on raw meat;  
or, as the sky changes its hue,  
if you wish,  
I shall grow irreproachably tender:  
not a man, but a cloud in trousers!

I deny the existence of blossoming Nice!  
Again in song I glorify  
men as crumpled as hospital beds,  
and women as battered as proverbs.

1

You think malaria makes me delirious?

It happened.  
In Odessa it happened.

## Облако в штанах

### Тетраптих

#### (Вступление)

Вашу мысль,  
мечтающую на размягченном мозгу,  
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,  
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:  
досыта изъязвляюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,  
и старческой нежности нет в ней!  
Мир огромив мощью голоса,  
иду — красивый,  
двадцатидвухлетний.

Нежные!  
Вы любовь на скрипки ложите.  
Любовь на литавры ложит грубый.  
А себя, как я, вывернуть не можете,  
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться -  
из гостиной батистовая,  
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,  
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите -  
буду от мяса бешеный  
— и, как небо, меняя тона -  
хотите -  
буду безукоризненно нежный,  
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!  
Мною опять славословятся  
мужчины, залежанные, как больница,  
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,  
было в Одессе.

"I'll come at four," Maria promised.

Eight.  
Nine.  
Ten.

Then the evening  
turned its back on the windows  
and plunged into grim night,  
scowling  
Decemberish.

At my decrepit back  
the candelabras guffawed and whinnied.

You would not recognise me now:  
a bulging bulk of sinews,  
groaning,  
and writhing,  
What can such a clod desire?  
Though a clod, many things!

The self does not care  
whether one is cast of bronze  
or the heart has an iron lining.  
At night the self only desires  
to steep its clangour in softness,  
in woman.

And thus,  
enormous,  
I stood hunched by the window,  
and my brow melted the glass.  
What will it be: love or no-love?  
And what kind of love:  
big or minute?  
How could a body like this have a big love?  
It should be teeny-weeny,  
humble, little love;  
a love that shies at the hooting of cars,  
that adores the bells of horse-trams.

Again and again  
nuzzling against the rain,  
my face pressed against its pitted face,  
I wait,  
splashed by the city's thundering surf.

Then midnight, amok with a knife,  
caught up,  
cut him down –  
out with him!

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.  
Девять.  
Десять.

Вот и вечер  
в ночную жуть  
ушел от окон,  
хмурый,  
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут  
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:  
жилистая громадина  
стонет,  
корчится.  
Что может хотеться этакой глыбе?  
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно  
и то, что бронзовый,  
и то, что сердце — холодной железкою.  
Ночью хочется звон свой  
спрятать в мягкое,  
в женское.

И вот,  
громадный,  
горблюсь в окне,  
плавлю лбом стекло окошечное.  
Будет любовь или нет?  
Какая -  
большая или крошечная?  
Откуда большая у тела такого:  
должно быть, маленький,  
смирный любеночек.  
Она шарахается автомобильных гудков.  
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,  
уткнувшись дождю  
лицом в его лицо рябое,  
жду,  
обрызганный громом городского прибора.

Полночь, с ножом мечась,  
догнала,  
зарезала, -  
вон его!

The stroke of twelve fell  
like a head from a block.

On the windowpanes, grey raindrops  
howled together,  
piling on a grimace  
as though the gargoyles  
of Notre Dame were howling.

Damn you!  
Isn't that enough?  
Screams will soon claw my mouth apart.

Then I heard,  
softly,  
a nerve leap  
like a sick man from his bed.  
Then,  
barely moving,  
at first,  
it soon scampered about,  
agitated,  
distinct.  
Now, with a couple more,  
it darted about in a desperate dance.

The plaster on the ground floor crashed.

Nerves,  
big nerves,  
tiny nerves,  
many nerves! –  
galloped madly  
till soon  
their legs gave way.

But night oozed and oozed through the room –  
and the eye, weighed down, could not slither out of  
the slime.

The doors suddenly banged ta-ra-bang,  
as though the hotel's teeth  
chattered.

You swept in abruptly  
like "take it or leave it!"  
Mauling your suede gloves,  
you declared:  
"D'you know,  
I'm getting married."

All right, marry then.  
So what,

Упал двенадцатый час,  
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождейки серые  
свылись,  
гримасу громадили,  
как будто воют химеры  
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!  
Что же, и этого не хватит?  
Скоро криком издерется рот.

Слышу:  
тихо,  
как больной с кровати,  
спрыгнул нерв.  
И вот, -  
сначала прошелся  
едва-едва,  
потом забегал,  
взволнованный,  
четкий.  
Теперь и он и новые два  
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы -  
большие,  
маленькие,  
многие! -  
скачут бешеные,  
и уже  
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, -  
из тины не вытянутся отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,  
будто у гостиницы  
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,  
резкая, как «нате!»,  
муча перчатки замш,  
сказала:  
«Знаете -  
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.  
Ничего.

I can take it.  
As you see, I'm calm!  
Like the pulse  
of a corpse.

Do you remember  
how you used to talk?  
"Jack London,  
money,  
love,  
passion."  
But I saw one thing only:  
you, a Gioconda,  
had to be stolen!

And you were stolen.

In love, I shall gamble again,  
the arch of my brows ablaze.  
What of it!  
Homeless tramps often find  
shelter in a burnt-out house!

You're teasing me now?  
"You have fewer emeralds of madness  
than a beggar has kopeks!"  
But remember!  
When they teased Vesuvius,  
Pompeii perished!

Hey!  
Gentlemen!  
Amateurs  
of sacrilege,  
crime,  
and carnage,  
have you seen  
the terror of terrors –  
my face  
when  
I  
am absolutely calm?

I feel  
my "I"  
is much too small for me.  
Stubbornly a body pushes out of me.

Hello!  
Who's speaking?  
Mamma?  
Mamma!  
Your son is gloriously ill!  
Mamma!

Покреплюсь  
. Видите — спокоен как!  
Как пульс  
покойника.

Помните?  
Вы говорили:  
«Джек Лондон,  
деньги,  
любовь,  
страсть», -  
а я одно видел:  
вы — Джоконда,  
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,  
огнем озаря бровей загиб.  
Что же!  
И в доме, который выгорел,  
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?  
«Меньше, чем у нищего копеек,  
у вас изумрудов безумий».  
Помните!  
Погибла Помпея,  
когда раздражили Везувий!

Эй!  
Господа!  
Любители  
святоотатств,  
преступлений,  
боев, -  
а самое страшное  
видели -  
лицо мое,  
когда  
я  
абсолютно спокоен?

И чувствую -  
«я»  
для меня мало.  
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!  
Кто говорит?  
Мама?  
Мама!  
Ваш сын прекрасно болен!  
Мама!

His heart is on fire.  
Tell his sisters, Lyuda and Olya,  
he has no nook to hide in.

Each word,  
each joke,  
which his scorching mouth spews,  
jumps like a naked prostitute  
from a burning brothel.

People sniff  
the smell of burnt flesh!  
A brigade of men drive up.  
A glittering brigade.  
In bright helmets.  
But no jackboots here!  
Tell the firemen  
to climb lovingly when a heart's on fire.  
Leave it to me.  
I'll pump barrels of tears from my eyes.  
I'll brace myself against my ribs.  
I'll leap out! Out! Out!  
They've collapsed.  
You can't leap out of a heart!

From the cracks of the lips  
upon a smouldering face  
a cinder of a kiss rises to leap.

Mamma!  
I cannot sing.  
In the heart's chapel the choir loft catches fire!

The scorched figurines of words and numbers  
scurry from the skull  
like children from a flaming building.  
Thus fear,  
in its effort to grasp at the sky,  
lifted high  
the flaming arms of the Lusitania.

Into the calm of the apartment  
where people quake,  
a hundred-eye blaze bursts from the docks.  
Moan  
into the centuries,  
if you can, a last scream: I'm on fire!

У него пожар сердца.  
Скажите сестрам, Люде и Оле, -  
ему уже некуда деться.

Каждое слово,  
даже шутка,  
которые изрыгает обгорающим ртом он,  
выбрасывается, как голая проститутка  
из горящего публичного дома.

Люди нюхают -  
запахло жареным!  
Нагнали каких-то.  
Блестящие!  
В касках!  
Нельзя сапожища!  
Скажите пожарным:  
на сердце горящее лезут в ласках.  
Я сам.  
Глаза наслезненные бочками выкачу.  
Дайте о ребра опереться.  
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!  
Рухнули.  
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем  
из трещины губ  
обугленный поцелушко броситься вырост.

Мама!  
Петь не могу.  
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел  
из черепа,  
как дети из горящего здания.  
Так страх  
схватиться за небо  
высил  
горящие руки «Луситании».

Трясущимся людям  
в квартирное тихо  
стоглазое зарево рвется с пристани.  
Крик последний, -  
ты хоть  
о том, что горю, в столетия выстони!

For me the great are no match.  
Upon every achievement  
I stamp nihil

I never want  
to read anything.  
Books?  
What are books!

Formerly I believed  
books were made like this:  
a poet came,  
lightly opened his lips,  
and the inspired fool burst into song –  
if you please!  
But it seems,  
before they can launch into a song,  
poets must tramp for days with callused feet,  
and the sluggish fish of the imagination  
flounders softly in the slush of the heart.  
And while, with twittering rhymes, they boil a broth  
of loves and nightingales,  
the tongueless street merely writhes  
for lack of something to shout or say.

In our pride, we raise up again  
the cities' towers of Babel,  
but god,  
confusing tongues,  
grinds  
cities to pasture.

In silence the street pushed torment.  
A shout stood erect in the gullet.  
Wedged in the throat,  
bulging taxis and bony cabs bristled.  
Pedestrians have trodden my chest  
flatter than consumption.

The city has locked the road in gloom.

But when –  
nevertheless! –  
the street coughed up the crush on the square,  
pushing away the portico that was treading on its throat,  
it looked as if:  
in choirs of an archangel's chorale,  
god, who has been plundered, was advancing in  
wrath!

But the street, squatting down, bawled:  
“Let's go and guzzle!”

Я великим не чета.  
Я над всем, что сделано,  
ставлю «nihil».

Никогда  
ничего не хочу читать.  
Книги?  
Что книги!

Я раньше думал -  
книги делаются так:  
пришел поэт,  
легко разжал уста,  
и сразу запел вдохновенный протак -  
пожалуйста!  
А оказывается -  
прежде чем начнет петься,  
долго ходят, размозолев от брожения,  
и тихо барахтаются в тине сердца  
глупая вобла воображения.  
Пока выкипачивают, рифмами пиликают,  
из любвей и соловьев какое-то варево,  
улица корчится безъязыкая -  
ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,  
возгордясь, возносим снова,  
а бог  
города на пашни  
рушит,  
мешая слово.

Улица муку молча перла.  
Крик торчком стоял из глотки.  
Топорщились, застрявшие поперек горла,  
пухлые taxi и костлявые пролетки  
грудь испешеходили.  
Чохотки плеще.

Город дорогу мраком запер.

И когда -  
все-таки! -  
выхаркнула давку на площадь,  
спихнув наступившую на горло паперть,  
думалось:  
в хорах архангелова хорала  
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:  
«Идемте жрать!»

Krupps and Krupplets I paint  
a bristling of menacing brows on the city,  
but in the mouth  
corpselets of dead words putrefy;  
and only two thrive and grow fat:  
“swine,”  
and another besides,  
apparently – “borsch.”

Poets,  
soaked in complaints and sobs,  
break from the street, rumpling their matted hair  
over: “How with two such words celebrate  
a young lady  
and love  
and a floweret under the dew?”

In the poets’ wake  
thousands of street folk:  
students,  
prostitutes,  
salesmen.

Gentlemen!  
Stop!  
You are no beggars;  
how dare you beg for alms!

We in our vigour,  
whose stride measures yards,  
must not listen, but tear them apart –  
them,  
glued like a special supplement  
to each double bed!

Are we to ask them humbly:  
“Assist me!”  
Implore for a hymn  
or an oratorio!  
We ourselves are creators within a burning hymn –  
the hum of mills and laboratories.

What is Faust to me,  
in a fairy splash of rockets  
gliding with Mephistopheles on the celestial parquet!  
I know –  
a nail in my boot  
is more nightmarish than Goethe’s fantasy!

I,  
the most golden-mouthed,  
whose every word  
gives a new birthday to the soul,  
gives a name-day to the body,

Гримируют городу Круппы и Круппики  
грозящих бровей морщ,  
а во рту  
умерших слов разлагаются трупики,  
только два живут, жирея -  
«сволочь»  
и еще какое-то,  
кажется, «борщ».

Поэты,  
размокшие в плаче и всхлипе,  
бросились от улицы, ероша космы:  
«Как двумя такими выпеть  
и барышню,  
и любовь,  
и цветочек под росами?»

А за поэтами -  
уличные тыщи:  
студенты,  
проститутки,  
подрядчики.

Господа!  
Остановитесь!  
Вы не нищие,  
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,  
с шага саженьям,  
надо не слушать, а рвать их -  
их,  
присосавшихся бесплатным приложением  
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:  
«Помоги мне!»  
Молить о гимне,  
об оратории!  
Мы сами творцы в горящем гимне -  
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,  
феерией ракет  
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!  
Я знаю -  
гвоздь у меня в сапоге  
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,  
златоустейший,  
чье каждое слово  
душу новородит,  
именинит тело,

I adjure you:  
the minutest living speck  
is worth more than what I'll do or did!

Listen!  
It is today's brazen-lipped Zarathustra  
who preaches,  
dashing about and groaning!  
We,  
our face like a crumpled sheet,  
our lips pendulant like a chandelier;  
we,  
the convicts of the City Leprous,  
where gold and filth spawned leper's sores,  
we are purer than the azure of Venice,  
washed by both the sea and the sun!

I spit on the fact  
that neither Homer nor Ovid  
invented characters like us,  
pock-marked with soot.  
I know  
the sun would dim, on seeing  
the gold fields of our souls!

Sinews and muscles are surer than prayers.  
Must we implore the charity of the times!  
We –  
each one of us –  
hold in our fists  
the driving belts of the worlds!

This led to my Golgothas in the halls  
of Petrograd, Moscow, Odessa, and Kiev,  
where not a man  
but  
shouted:  
“Crucify,  
crucify him!”  
But for me –  
all of you people,  
even those that harmed me –  
you are dearer, more precious than anything.

Have you seen  
a dog lick the hand that thrashed it?!

I,  
mocked by my contemporaries  
like a prolonged  
dirty joke,  
I perceive whom no one sees,  
crossing the mountains of time.

говорю вам:  
мельчайшая пылинка живого  
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!  
Проповедует,  
мечась и стенья,  
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!  
Мы  
с лицом, как заspanная простыня,  
с губами, обвисшими, как люстра,  
мы,  
каторжане города-лепрозория,  
где золото и грязь изъязвили проказу, -  
мы чище венецианского лазорья,  
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет  
у Гомеров и Овидиев  
людей, как мы,  
от копоти в оспе.  
Я знаю -  
солнце померкло б, увидев  
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.  
Нам ли вымаливать милостей времени!  
Мы -  
каждый -  
держим в своей пятерне  
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий  
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,  
и не было ни одного,  
который  
не кричал бы:  
«Распни,  
распни его!»  
Но мне -  
люди,  
и те, что обидели -  
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,  
как собака бьющую руку лижет?!

Я,  
обсмеянный у сегодняшнего племени,  
как длинный  
скабрзный анекдот,  
вижу идущего через горы времени,  
которого не видит никто.



Where men's eyes stop short,  
there, at the head of hungry hordes,  
the year 1916 cometh  
in the thorny crown of revolutions.

In your midst, his precursor,  
I am where pain is – everywhere;  
on each drop of the tear-flow  
I have nailed myself on the cross.  
Nothing is left to forgive.  
I've cauterised the souls where tenderness was bred.  
It was harder than taking  
a thousand thousand Bastilles!

And when,  
the rebellion  
his advent announcing,  
you step to meet the saviour –  
then I  
shall root up my soul;  
I'll trample it hard  
till it spread  
in blood; and I offer you this as a banner.

3

Ah, wherefrom this,  
how explain this  
brandishing of dirty fists  
at bright joy!

She came,  
and thoughts of a madhouse  
curtained my head in despair.

And –  
as a dreadnought founders  
and men in choking spasms  
dive out of an open hatch –  
so Burlyuk, panic-stricken,  
crawled  
though the screaming gash of his eye.  
Almost bloodying his teary eyelids,  
he crawled out,  
rose,  
walked,  
and, with tenderness unexpected in one so obese,  
announced:  
“It's fine!”

It's fine, when a yellow shirt

Где глаз людей обрывается куцый,  
главой голодных орд,  
в терновом венце революций  
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;  
я — где боль, везде;  
на каждой капле слезовой течи  
распял себя на кресте.  
Уже ничего простить нельзя.  
Я выжег души, где нежность растили.  
Это труднее, чем взять  
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,  
приход его  
мятежом оглашая,  
выйдете к спасителю -  
вам я  
душу вытащу,  
растопчу,  
чтоб большая! -  
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,  
откуда это  
в светлое весело  
грязных кулачищ замах!

Пришла  
и голову отчаянием занавесила  
мысль о сумасшедших домах.

И -  
как в гибель дредноута  
от душащих спазм  
бросаются в разинутый люк -  
сквозь свой  
до крика разодранный глаз  
лез, обезумев, Бурлюк.  
Почти окровавив исслезенные веки,  
вылез,  
встал,  
пошел  
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке  
взял и сказал:  
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту

shields the soul from investigation!  
It's fine,  
when thrown at the gibbet's teeth,  
to shout:  
"Drink Van Houten's Cocoa!"

That instant  
crackling  
like a Bengal light,  
I would not exchange for anything,  
not for any ...

Out of the cigar smoke,  
Severyanin's drink-sodden face lurched forward  
like a liqueur glass.

How dare you call yourself a poet,  
and twitter greyly like a quail!  
This day  
brass knuckles  
must  
split the world inside the skull!

You,  
who are supremely worried by the thought:  
"Am I an elegant dancer?"  
Look at my way of enjoying life –  
I –  
a common  
pimp and cardsharp!

On you,  
steeped in love  
who watered  
the centuries with tears,  
I'll turn my back, fixing  
the sun like a monocle  
into my gaping eye.

Donning fantastic finery,  
I'll strut the earth  
to please and scorch;  
and Napoleon  
will precede me, like a pug, on a leash.

The earth, like a woman, will flop on her back,  
a mass of quivering flesh, ready to yield;  
things will come to life –  
and their lips  
will lisp and lisp:  
"Yum-yum-yum!"

Suddenly,

душа от осмотров укутана!  
Хорошо,  
когда брошенный в зубы эшафоту,  
крикнуть:  
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,  
бенгальскую,  
громкую,  
я ни на что б не выменял,  
я ни на...

А из сигарного дыма  
ликерною рюмкой  
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеее называться поэтом  
и, серенький, чирикать, как перепел!  
Сегодня  
надо  
кастетом  
кроиться миру в черепе!

Вы,  
обеспокоенные мыслью одной -  
«изящно пляшу ли», -  
смотрите, как развлекаюсь  
я -  
площадной  
сутенер и карточный шулер.

От вас,  
которые влюбленностью мокли,  
от которых  
в столетия слеза лилась,  
уйду я,  
солнце моноклем  
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,  
пойду по земле,  
чтоб нравился и жегся,  
а впереди  
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,  
заерзает мясами, хотя отдаться;  
вещи оживут -  
губы вещицы  
засюсюкают:  
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг

the clouds  
and other cloudy things in the sky  
will roll and pitch madly  
as if workers in white when their way  
after declaring a bitter strike against the sky.

More savagely, thunder strode from a cloud,  
friskily snorting from enormous nostrils;  
and, for a second, the sky's face was twisted  
in the Iron Chancellor's grim grimace.

And someone,  
entangled in a cloudy mesh.  
held out his hands to a café;  
and it looked somehow feminine,  
and tender somehow,  
and somehow like a gun carriage.

You believe  
the sun was tenderly  
patting the cheeks of the café?  
No, it's General Gallifet,  
advancing again to mow down the rebels!

Strollers, hands from your pockets –  
pick a stone, knife, or bomb;  
and if any of you have no arms,  
come and fight with your forehead!

Forward, famished ones,  
sweating ones,  
servile ones,  
mildewed in the flea-ridden dirt!

Forward!  
Painting Mondays and Tuesdays in blood,  
we shall turn them into holidays.  
Let the earth at knife's point, remember  
whom it wished to debase!  
The earth,  
bulging like a mistress  
whom Rothchild has overfondled!

The flags may flutter in a fever of gunfire  
as on every important holiday –  
will you, the street lamps, hoist high up  
the battered carcasses of traders.

I swore,  
pleaded,  
stabbed,  
fought to fasten

и тучи  
и облачное прочее  
подняло на небе невероятную качку,  
как будто расходятся белые рабочие,  
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,  
громадные ноздри задорно высморкая,  
и небе лицо секунду кривилось  
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,  
запутавшись в облачных путах,  
вытянул руки к кафе -  
и будто по-женски,  
и нежный как будто,  
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете -  
это солнце нежненько  
треплет по щечке кафе?  
Это опять расстрелять мятежников  
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк -  
берите камень, нож или бомбу,  
а если у которого нету рук -  
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,  
потненькие,  
покорненькие,  
закишие в блохастом грязненьке!

Идите!  
Понедельники и вторники  
окрасим кровью в праздники!  
Пускай земле под ножами припомнится,  
кого хотела опошлить!  
Земле,  
обжиревшей, как любовница,  
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,  
как у каждого порядочного праздника -  
выше вздымайте, фонарные столбы,  
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,  
вымаливался,  
резал,  
лез за кем-то

my teeth into somebody's flesh,

In the sky, red as Marseillaise,  
the sunset shuddered at its last gasp.

It's madness.

Nothing at all will remain.

Night will arrive,  
bite in two,  
gobble you up.

Look –  
is the sky playing Judas again  
with a handful of treachery-spattered stars?  
Night came.  
Feasted like Mamai,  
squatting with its rump on the city.  
Our eyes cannot break this night,  
black as Azef!

I huddle, slumped in corners of saloons;  
with vodka drenching my soul and the cloth,  
I notice  
in one corner – rounded eyes:  
the madonna's, which bite into the heart.  
Why bestow such radiance of the painted form  
upon a horde infesting a saloon!  
Don't you see! They spit  
on the man of Golgotha again,  
preferring Barabbaas.

Deliberately, perhaps,  
I show no newer face  
amid this human mash.  
I,  
perhaps,  
am the handsomest  
of your sons.

Give them,  
who are mouldy with joy,  
a time of quick death,  
that children may grow,  
boys into fathers,  
girls – big with child.

And may new born babes  
grow the hair of the magi –  
and they will come anon  
to baptise the infants

вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,  
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумашествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,  
перекусит  
и съест.

Видите -  
небо опять иудит  
пригоршню обгрызанных предательством звезд?

Пришла.  
Пирует Мамаем,  
задом на город насеv.  
Эту ночь глазами не проломаем,  
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,  
вином обливаю душу и скатерть  
и вижу:  
в углу — глаза круглы, -  
глазами в сердце вьелась богоматерь.  
Чего одаривать по шаблону намалеванному  
сиянием трактирную ораву!  
Видишь — опять  
голгофнику оплеванному  
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я  
в человечьем месиве  
лицом никого не новой.  
Я,  
может быть,  
самый красивый  
из всех твоих сыновей.

Дай им,  
заплесневшим в радости,  
скорой смерти времени,  
чтоб стали дети, должные подрасти,  
мальчики — отцы,  
девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти  
пытливой сединой волхвов,  
и придут они -  
и будут детей крестить

with the names of my poems.

I, who praised the machine and England,  
I am perhaps quite simply  
the thirteenth apostle  
in an ordinary gospel.

And whenever my voice  
rumbles bawdily –  
then, from hour to hour,  
around the clock,  
Jesus Christ may be sniffing  
the forget-me-nots of my soul.

4

Maria! Maria! Maria!  
Let me in, Maria!  
I can't suffer the streets!  
You won't?  
You'd rather wait  
until my cheeks cave in,  
until, pawed by everyone,  
I arrive,  
stale,  
toothlessly mumbling  
that today I am  
"amazingly honest."

Maria,  
as you see—  
my shoulders droop.

In the streets  
men will prick the blubber of four-story craws,  
thrust out their little eyes,  
worn in forty years of wear and tear—  
to snigger  
at my champing  
again!—  
on the hard crust of yesterday's caress.

Rain has drowned the sidewalks in sobs;  
the puddle-prisoned rogue,  
all drenched, licks the corpse of the streets by  
cobblestones clobbered,  
but on his grizzled eyelashes—  
yes!  
on the eyelashes of frosted icicles,  
tears gush from his eyes—  
yes!—

именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,  
может быть, просто,  
в самом обыкновенном Евангелии  
тринадцатый апостол.

И когда мой голос  
похабно ухает -  
от часа к часу,  
целые сутки,  
может быть, Иисус Христос нюхает  
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!  
Пусти, Мария!  
Я не могу на улицах!  
Не хочешь?  
Ждешь,  
как щеки провалятся ямкою  
попробованный всеми,  
пресный,  
я приду  
и беззубо прошамкаю,  
что сегодня я  
«удивительно честный».

Мария,  
видишь -  
я уже начал сутулиться.

В улицах  
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,  
высунут глазки,  
потертые в сорокгодовой таске, -  
перехихикиваться,  
что у меня в зубах  
— опять! -  
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,  
лужами сжатый жулик,  
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,  
а на седых ресницах -  
да! -  
на ресницах морозных сосулек  
слезы из глаз -  
да! -

from the drooping eyes of the drainpipes.

The rain's snout licked all pedestrians;  
but fleshy athletes, gleaming, passed by in carriages;  
people burst asunder,  
gorged to the marrow,  
and grease dripped through the cracks;  
and the cud of old ground meat,  
together with the pulp of chewed bread,  
dribbled down in a turbid stream from the carriages.

Maria!  
How stuff a gentle word into their fat-bulged ears?  
A bird  
sings  
for alms,  
hungry and resonant.  
But I am a man, Maria,  
a simple man,  
coughed up by consumptive night on the dirty hand of  
the Presnya.

Maria, do you want such a man?  
Let me in, Maria!  
With shuddering fingers I shall grip the doorbell's iron throat!

Maria!

The paddocks of the streets run wild.  
The fingers of the mob mark my neck.

Open up!

I'm hurt!

Look—my eyes are stuck  
with ladies' hatpins!

You've let me in.

Darling!  
Don't be alarmed  
if a mountain of women with sweating bellies  
squats on my bovine shoulders—  
through life I drag  
millions of vast pure loves  
and a million million of foul little lovekins.  
Don't be afraid  
if once again  
in the inclemency of betrayal,  
I'll cling to thousands of pretty faces—  
“that love Mayakovsky!”—  
for this is the dynasty

из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,  
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;  
лопались люди,  
проевшись насквозь,  
и сочились сквозь трещины сало,  
мутной рекой с экипажей стекала  
вместе с иссосанной булкой  
жевотина старых котлет.

Мария!  
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?  
Птица  
побирается песней,  
поет,  
голодна и звонка,  
а я человек, Мария,  
простой,  
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку  
Пресни.

Мария, хочешь такого?  
Пусти, Мария!  
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.  
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натканы  
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!  
Не бойся,  
что у меня на шее воловьей  
потноживотые женщины мокрой горою сидят, -  
это сквозь жизнь я ташу  
миллионы огромных чистых любовей  
и миллион миллионов маленьких грязных любят.  
Не бойся,  
что снова,  
в измены ненастье,  
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, -  
«любящие Маяковского!»—  
да ведь это ж династия

of queens who have ascended the heart of a madman.

Maria, come closer!

Whether in unclothed shame  
or shudders of apprehension,  
do yield me the unwithered beauty of your lips:  
my heart and I have never got as far as May,  
and in my expended life  
there is only a hundredth April.

Maria!  
The poet sings sonnets to Tiana,  
but I  
am all flesh,  
a man every bit—  
I simply ask for your body  
as Christians pray:  
“Give us this day  
our daily bread!”

Maria—give!

Maria!  
I fear to forget your name  
as a poet fears to forget  
some word  
sprung in the torment of the night,  
mighty as god himself.

Your body  
I shall cherish and love  
as a soldier,  
amputated by war,  
unwanted  
and friendless,  
cherishes his last remaining leg.

Maria—  
you won't have me?  
you won't have me!

Ha!

The once again,  
darkly and dully,  
my heart I shall take,  
with tears besprinkled,  
and carry it,  
like a dog  
carries  
to its kennel

на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,  
в боящейся дрожи ли,  
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:  
я с сердцем ни разу до мая не дожили,  
а в прожитой жизни  
лишь сотый апрель есть.

Мария!  
Поэт сонеты поет Тиане,  
а я -  
весь из мяса,  
человек весь -  
тело твоё просто прошу,  
как просят христиане -  
«хлеб наш насущный  
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!  
Имя твоё я боюсь забыть,  
как поэт боится забыть  
какое-то  
в муках ночей рожденное слово,  
величием равное богу.

Тело твоё  
я буду беречь и любить  
, как солдат,  
обрубленный войною,  
ненужный,  
ничей,  
бережет свою единственную ногу.

Мария -  
не хочешь?  
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять  
темно и понуро  
сердце возьму,  
слезами окапав,  
нести,  
как собака,  
которая в конуру  
несет

a paw which a train ran over.

With the heart's blood I gladden the road,  
and flowering it sticks to the dusty tunic.  
The sun, like Salome,  
will dance a thousand times  
round the earth - the Baptist's head.

And when my quantity of years  
has finished its dance,  
a million bloodstains will lie spread  
on the path to my father's house.

I shall clamber out  
filthy (from sleeping in ditches);  
I'll stand at his side  
and, bending,  
shall speak in his ear:

"Listen, mister god!  
Isn't it tedious  
to dip your puffy eyes  
every day into a jelly of cloud?  
Let us—why not—  
start a merry-go-round  
on the tree of what is good and evil!  
Omnipresent, you will be in each cupboard,  
and with such wines we'll grace the table  
than even frowning Apostle Peter  
will want to step out in the ki-ka-pou.  
In Eden again we'll lodge little Eves:  
command-  
and this very night, for you,  
from the boulevards, I'll round up  
all the most beautiful girls.

Would you like that?

You would not?

You shake your head, curlylocks?  
You're frowning, grey brows?  
You believe  
this  
creature with wings behind you  
knows what love is?

I too am an angel; I was one—  
with a sugar lamb's eye I gazed;  
but I'll give no more presents to mares  
of ornamental vases made of tortured Sevres.  
Almighty, you concocted a pair of hands,  
arranged

переехавшую поездом лапу.

Кровью сердце дорогу радую,  
липнет цветами у пыли кителя.  
Тысячу раз опляшет Иродиадой  
солнце землю -  
голову Крестителя.

И когда мое количество лет  
выпляшет до конца -  
миллионом кровинок устелется след  
к дому моего отца.

Вылезу  
грязный (от ночевок в канавах),  
стану бок о бок,  
наклонюсь  
и скажу ему на ухо:

— Послушайте, господин бог!  
Как вам не скушно  
в облачный кисель  
ежедневно обмакивать раздобрившие глаза?  
Давайте — знаете -  
устроимте карусель  
на дереве изучения добра и зла!  
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,  
и вина такие расставим по столу,  
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу  
хмурому Петру Апостолу.  
А в рае опять поселим Евочек:  
прикажи, -  
сегодня ночью ж  
со всех бульваров красивейших девочек  
я наташу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?  
Супишь седую бровь?  
Ты думаешь -  
этот,  
за тобою, крыластый,  
знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им -  
сахарным барашком выглядывал в глаз,  
но больше не хочу дарить кобылам  
из сервской муки изваянных ваз.  
Всемогущий, ты выдумал пару рук,  
сделал,



for everyone to have a head:  
but why didn't you see to it  
that one could without torture  
kiss, and kiss and kiss?!

I though you a great big god almighty,  
but you're a dunce, a minute little godlet.  
Watch me stoop  
and reach for the shoemaker's knife  
in my boot.

Swindlers with wings,  
huddle in heaven!  
Ruffle your feathers in shuddering flight!  
I'll rip you open, reeking of incense,  
wide open from here to Alaska!

Let me in!

You can't stop me.  
I may be wrong  
or right,  
but I'm as calm as I can be.  
Look—  
again they've beheaded the stars,  
and the sky is bloody with carnage!

Hey, you!  
Heaven!  
Off with your hat!  
I am coming!

Not a sound.

The universe sleeps,  
its huge paw curled  
upon a star-infested ear.

(1914-1915)

что у каждого есть голова, -  
отчего ты не выдумал,  
чтоб было без мук  
целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всеильный божище,  
а ты недоучка, крохотный божик.  
Видишь, я нагибаюсь,  
из-за голенища  
достаю сапожный ножик.

Крыластые прохвосты!  
Жмитесь в раю!  
Ерошьте перышки в испуганной тряске!  
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою  
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.  
Вру я,  
в праве ли,  
но я не могу быть спокойней.  
Смотрите -  
звезды опять обезглавили  
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!  
Небо!  
Снимите шляпу!  
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,  
положив на лапу  
с клещами звезд огромное ухо.

(1914-1915)